

В. А. Кошелев

КРЫМ КАК «ВОСПОМИНАНИЕ» В ЛИРИКЕ ПУШКИНА

*Воображенью край священный!*¹ — это метафорическое определение Крыма, с которого начинается «крымское» отступление в «Отрывках из путешествия Онегина», кажется как будто вполне естественным. Между тем в нем сопряжены разнонаправленные понятия. *Край* дан в значении «область, местность», в пушкинские времена воспринимавшемся еще и с оттенком «удаленности, окраинности» — некое «на краю света» расположенное пространство. Но с этим конкретным понятием связано абстрактное *воображенье* — одно из ключевых слов поэтического словаря Пушкина и одна из важнейших категорий его художественного мышления. Пушкин воспринимал *воображение* как способность представлять действительность сообразно своему желанию и идеалу — и ощущал *воображенье* как процесс осмысления отношения поэзии к действительности:

Остались нам стихи: поэмы, триолеты,
Баллады, басенки, элегии, куплеты,
Досугов и любви невинные мечты,
Воображения минутные цветы.

(II, 268)

В «Отрывках из путешествия Онегина» слово *воображенье* стоит не в родительном, а в дательном падеже, что существенно меняет семантику поэтического высказывания. Не «край» воспринимается как носитель или источник «воображенья», а воображение становится тем фантомом, который способен «пересоздать» «священный край». Эта

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1937. Т. 6. С. 199. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

особенность пушкинской семантики проявлена уже в первоначальных вариантах черновой рукописи: «Восп<оминаний> край священный», «Он зрит поэту край священный». Или — в ином варианте:

Волшебный край!.. воспоминань <я>
 Священной тенью облегли
 Сей отдаленный край земли.

(VI, 487)

Вся «крымская» лирика Пушкина оказывается неразрывно связана с «воспоми^наньем» и «вообра^жением».

Пушкин был в Крыму единственный раз в ранней молодости — и очень недолго. В основном он жил в Гурзуфе — с 19 августа до 5 сентября 1820 г., около трех недель. Ничем особенным его крымская жизнь внешне не ознаменовалась. В «Отрывке из письма к Д.», предназначенном для печати, Пушкин вспоминает об этой жизни в нарочито будничных тонах: «В Юрзуфе жил я *сиднем*, купался в море и обедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского Lazzaropo. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его, и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот всё, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти» (VIII, 437).

«В памяти» — но не в «воображении». Это сообщение при жизни Пушкина неоднократно перепечатывалось (первый раз — в «Северных цветах на 1826 год»), а после его смерти стало источником новых «поэтических сказаний», биографических мифов, возникших как дополнение к пушкинской биографии. Один из таких «мифов» приводит П. И. Бартенев в работе «Пушкин в Южной России» (1861), основанной на документах и беседах с людьми, знавшими поэта: «Постоянные обитатели Гурзуфа, тамошние татары уверяют, что, когда поэт сиживал под кипарисом, к нему прилетал соловей и *пел с ним вместе*; с тех пор каждое лето возобновлялись посещения пернатого певца; но поэт умер, и соловей больше не прилетает»².

² Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М., 1992. С. 152 (курсив мой. — В. К.).

Перед нами — образец «биографического мифа» в его чистом виде. Он «легендарен» уже на уровне обыденной житейской логики: откуда взяться «поющим соловьям» в августе—сентябре?

Судя по сохранившимся источникам, Пушкин «пел» в Гурзуфе не очень много. Во всяком случае, Б. В. Томашевский, специально занимавшийся этим вопросом, сумел указать лишь следующие четыре текста, относительно которых «с большей или меньшей уверенностью» можно сказать, что они написаны в Крыму³.

1. «*Погасло дневное светило...*» Знаменитая элегия, открывшая «байронический» период творчества Пушкина, была, по свидетельству самого поэта (в письме к брату Льву от 24 сентября 1820 г. — XIII, 19), написана «ночью на корабле» (в ночь с 18 на 19 августа 1820), во время переезда из Феодосии в Гурзуф. Посылая ее для публикации, Пушкин, однако, снабдил ее пометой: «*Черное море. 1820. Сентябрь*». После крымского путешествия поэт, уже в Кишиневе, 20—24 сентября, дорабатывал и дополнял ее⁴.

2. «*Увы, зачем она блистает...*» Под одним автографом — помета: «1820 Юрзуф», под другим — «8 февраля 1821. Киев». Публикуя эту элегию (впервые — в «Полярной звезде на 1823 год»), Пушкин датировал ее 1819 годом, — возможно, для того, чтобы избежать биографических «применений» (стихотворение, по-видимому, было связано с Екатериной Николаевной Раевской; менее вероятно — с ее сестрой Еленой).

3. «*К ****» («*Зачем безвременную скуку...*» Черновик элегии, находящийся в записной книжке ПД 830⁵, датируется 19—24 августа (он находится рядом с черновиком стихотворения «Я видел Азии бесплодные пределы...», которое Томашевский не указал в числе «гурзуфских» набросков). Но, печатая, Пушкин отнес элегию к 1821 г.

³ Томашевский Б. В. «Таврида» Пушкина // Учен. зап. Лен. гос. ун-та. 1949. № 122. Серия филол. наук. Вып. 16. С. 99.

⁴ См.: Сандомирская В. Б. О первом наброске стихотворения «Увы! зачем она блистает...» // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1986. Вып. 20. С. 138—139.

⁵ Здесь и далее аббревиатура «ПД» является обозначением собрания пушкинских рукописей (Институт русской литературы РАН, ф. 244, оп. 1), ссылки на которые даются в тексте с указанием единицы хранения и листа.

4. «Мне вас не жаль, года весны моей...» Это стихотворение осталось в рукописи; там оно имеет «странную» дату, в которой налицо несовпадение места и времени написания: «1820. Юрзуф. 20 сентября» (ПД 830, л. 5). 20 сентября 1820 г. Пушкин находился не в Гурзуфе, а отъезжал из Одессы в Кишинев...

Словом, все стихотворения, написанные в Гурзуфе, обнаруживают некие «странности» в истории их создания. По всей вероятности, совершенно справедливо наблюдение В. Б. Сандомирской: «Гурзуфским впечатлениям Пушкин обязан целым рядом лирических стихотворений, но характерно, что там Пушкин не довел до завершения, до художественной отделки ни одного из них — известны черновики «Записной книжки», но нет ни одного беловика, относящегося ко времени между 19 августа и 8 сентября. В Гурзуфе всё его время начиная с конца августа (после 24-го) было отдано работе над большим замыслом — поэмой „Кавказ“, вскоре ставшей поэмой о „Кавказском пленнике“»⁶.

Лирику Пушкина вдохновило не столько само *пребывание* в Крыму, сколько *воспоминание* об этом пребывании. «Отрывок из письма к Д.» завершался риторическим вопросом: «Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием?» или *воспоминание самая сильная способность души нашей*, и им очаровано всё, что подвластно ему?» (VIII, 439. Курсив мой. — В. К.)

Эти лирические «воспоминания» продолжались около пяти лет и породили несколько показательных текстов (для «чистоты» рассуждений мы исключаем из этого списка поэмы и замыслы поэм, фрагменты из романа в стихах и т. п.):

«*Нереида*» («Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду...») — ноябрь — декабрь 1820 г.;

«*Редает облаков летучая гряда...*» — ноябрь — декабрь 1820 г.;

«*Кто видел край, где роскошью природы...*» — ноябрь 1820 г. — апрель 1821 г.;

⁶ Сандомирская В. Б. О первом наброске стихотворения «Увы! зачем она блистает...» С. 138. Курсив мой. — В. К.

«Недавно бедный музульман...» — апрель — май 1821 г.;

«Надеждой сладостной младенчески дыша...» — конец октября — начало ноября 1823 г.;

«Придет ужасный час... твои небесны очи...» — конец октября — начало ноября 1823 г.;

«Фонтану Бахчисарайского дворца» — ноябрь 1824 г.;

«Виноград» («Не стану я жалеть о розах...») — март — май 1825 г.;

«О дева-роза, я в оковах...» (март — май 1825 г.);

«Чедаеву» («К чему холодные сомненья...») — 1824 г.;

«Буря» («Ты видел деву на скале...») — 1825 г.

Эти одиннадцать поэтических текстов, в которых лишь частично отражена собственно крымская топография, тем не менее определяют впечатление, зафиксированное, например, Ю. М. Лотманом: «Пребывание в Крыму, несмотря на всю его краткость, сыграло огромную роль в жизни и поэзии Пушкина: к этому времени восходят многие творческие замыслы и впечатления, которые потом разрабатывались и трансформировались в сознании поэта»⁷.

Именно *воображение* поэта стало источником тех «мифотворческих» загадок, которые связываются с «крымским» периодом пушкинского творчества. Тот же П. И. Бартенев, приведя «сказание» о кипарисе и соловье, продолжил: «К воспоминаниям о жизни в Юрзуфе несомненно относится тот женский образ, который *беспрестанно* является (? — В. К.) в стихах Пушкина, чуть только он вспомнит о Тавриде, который занимал его воображение *три года сряду*, преследовал его до самой Одессы, и там только сменился другим. В этом нельзя не убедиться, *внимательно следя за стихами того времени*. Но то была святыня души его, которую он строго чтит и берег от чужих взоров и которая послужила *внутреннюю основу всех тогдашних созданий его гения*. Мы не можем определенно указать на предмет его любви; ясно, однако, *что встретил он его в Крыму и что любил без взаимности*»⁸.

⁷ Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л., 1982. С. 60. Курсив мой. — В. К.

⁸ Бартенев П. И. О Пушкине. С. 152.

Бартенев, как видим, декларирует опору своего суждения на пушкинские стихи, в которых поэт «вспоминает о Тавриде». Но легко убедиться, что среди них не очень много текстов, «любви» посвященных. Бартенев явно опирается не на тексты, а на что-то иное.

Следующее за Бартеневым поколение пушкинистов предложило достаточно броское название для этого неопределенного «предмета любви» — «*утаенная любовь*» (выражение взято из черновиков «Посвящения» к поэме «Полтава» — V, 322). Однако за полтора столетия, несмотря на то что проблема «утаенной любви» стала весьма популярной в пушкиноведении, несмотря на то что ей, так или иначе, отдали дань крупнейшие исследователи (М. О. Гершензон, П. Е. Щеголев, Ю. Н. Тынянов, Л. П. Гроссман, Б. В. Томашевский, Т. Г. Цявловская и др. — эти исследования были даже собраны воедино и составили объемистую книгу⁹), — проблема осталась далека от «отгадки».

Кажется, что при решении проблемы «утаенной любви» ложной является сама исходная установка: путем анализа каких-то намеков, документальных данных, путем разного рода сопоставлений — точно и «по фамилии» определить предмет тайной пушкинской страсти, что называется, «ткнуть пальцем»: вот она! Так поступил, например, М. О. Гершензон, определив в качестве «предмета» «северной любви» М. А. Голицыну. Ему возразил П. Е. Щеголев: *не Голицына, а М. Н. Волконская...* И дальше пошло: *не Волконская, а Е. А. Карамзина, не Карамзина, а Н. В. Кочубей, не Кочубей, а С. С. Киселева* и т. п. Кажется, все соответствовало пушкинской установке, заявленной в «Бахчисарайском фонтане»: «чей образ нежный / Тогда преследовал меня / Неотразимый, неизбежный?...» (IV, 170).

Но вместе с тем пушкинская постановка вопроса не исключает и «перечислительного» его решения: *и сестры Раевские, и Кочубей, и Киселева...* Ведь «утаенная любовь» — это часть именно *пушкинской* (а не чьей-то еще) лирической биографии. «Тема утаенной любви, — констатирует Ю. М. Лотман, — объединяет цикл лирических стихотворений «крымского» происхождения или колорита...» И далее — по-

⁹ Утаенная любовь Пушкина: Сб. статей / Сост. Р. В. Иезуитова, Я. Л. Левкович. СПб., 1997.

казательное уточнение: «Однако значительно сильнее она проявляется не в самих стихотворениях, а в автокомментариях по их поводу, ориентируя литературные круги на определенный тип восприятия»¹⁰.

Так, Пушкин слишком активен в известном письме к А. А. Бестужеву (XIII, 100–101) протестовал против публикации намека на имя некоей крымской возлюбленной, совпадающей с именем «таврической звезды» («И дева юная во мгле тебя искала / Именем своим подругам называла» — II, 157). «Таврическая звезда» между тем на долгое время стала предметом литературоведческой полемики — и даже показательных насмешек: например, В. В. Вересаева...¹¹ «Протест» только способствовал возникновению некоторого *слуха* — не это ли и было нужно Пушкину для поддержания той романтической роли «изгнанника», томимого безответной любовью, которая как раз входила в некий комплекс модных романтических представлений о поэте? Сходную роль играло специальное указание (в письме к брату от 25 августа 1823 г.), что поэт «выпускает» из поэмы «Бахчисарайский фонтан» некий «любовный бред» и этого «брёда» ему «жаль» (XIII, 68).

Тот образ жизни, который обеспечило поэту пребывание в семье Раевских (переживавшем тогда самое счастливое время), более подходил не к романтическому, а к сентиментальному идеалу: «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался...» (из письма к брату от 24 сентября 1820 г. — XIII, 19). Следовательно, для романтизированной героини надлежало придумать иной образ жизни — хотя бы «внутренней». Так возникала, по терминологии Ю. М. Лотмана, «вторая биография» Пушкина, «которая служила бы в глазах читателей связующим контекстом для его произведений»¹².

Эта биография-легенда, в сущности, оказывается характерной составляющей бытия многих больших поэтов — и часто невольно проникает в научные исследования. Отталкиваясь от нее, приходится так

¹⁰ Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. С. 70.

¹¹ См.: Вересаев В. Таврическая звезда // Вересаев В. Загадочный Пушкин. М., 1996. С. 295–298.

¹² Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. С. 74.

или иначе «строить» аналитическое изучение лирической системы любого крупного поэта. Применительно к Пушкину ведущими «данностями» этой биографии-легенды стали экзотическая природа и «бушующая» на ее фоне роковая (и — «утаенная»!) любовь. Не имея возможности проявиться в реальных, «земных» сюжетах, эта любовь должна была реализоваться в проблеме «вечности и гроба».

А сама эта проблема была медитативно заявлена в незавершенной поэме «Таврида» (1822—1823), замысел которой служил для Пушкина образцовым для раскрытия философских границ «крымской мифологии». Поэт обращался к проблеме посмертного бытия человека: появлялась «глухая бездна, тихий мрак», символизировавшая переход человеческого *бытия* в некое *инобытие*. Или все-таки — *небытие*, «приют безверия слепого» (II, 749)? Оно органически чуждо здоровой психологии «воображающего» поэта — но все же? Ведь учение о бессмертии души имеет смысл только в том случае, если «бессмертный дух» сможет и за гробом сохранить в той или иной форме привычные земные ощущения человека.

Что может пережить поэта «за могилой»? Только то «бессмертие», что находится в его «внутреннем мире»: «Во мне бессмертна память милой / Что без нее душа моя!» (Ср. в черновом варианте: «Он мой, он вечен образ милой / Бессмертен, как душа моя!») — (II, 255, 755). Если что и «одушевляет» земную человеческую жизнь — так это любовь. Она и должна сопутствовать поэту даже и после его смерти. «Мой дух к Юрзуфу прилетит...» — туда, где осталась некая *она*? Но кто — *она*? Раевские давно уехали — кто еще?

«Таврида» с ее идеей «одушевляющей любви» стала определяющим философским текстом в контексте общей мифологии «утаенной любви», разрабатывавшейся Пушкиным. Здесь должно было возникнуть обоснование той «второй биографии», которую поэт конструировал, соотносясь с литературными запросами эпохи.

Эту «вторую биографию» Пушкин продолжал разрабатывать и дальше. Уже живя в Одессе, где-то между 22 октября и 3 ноября 1823 г.¹³, он начерно набросал (в «первой масонской» тетради — ПД 834,

¹³ Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. М., 1999. Т. 1. С. 348—349.

л. 29–30) два стихотворения, представлявшие самостоятельное развитие фрагментов «Тавриды». Оба эти фрагмента, написанные александрийским стихом, касаются той же темы посмертного бытия человека. В первом — «Надеждой сладостной младенчески дыша...» — Пушкин проецирует эту проблему на лирическое я; во втором — «Придет ужасный час... твои небесны очи...» — на образ «милой».

Эти наброски осени 1823 г. прямо связаны с «Тавридой» и покоятся на основательном фундаменте европейской философии¹⁴. Но в данном случае показательно, что они «разрывают» черновые рукописи второй главы «Онегина» как раз в том месте (XVI строфа), где автор повествует о стихах Ленского. П. В. Анненков, впервые по рукописи опубликовавший эти наброски, так и посчитал их стихотворениями Ленского — теми самыми «отрывками северных поэм», которые тот читал Онегину. Эта идея Анненкова была поддержана пушкинистами в XIX столетии: во всяком случае, во многих изданиях пушкинских сочинений они печатались среди черновики «Онегина». В XX столетии гипотеза, как известно, была отвергнута¹⁵. Вместе с тем отнесение данных набросков к «стихам Ленского» все же имело — хотя бы косвенные — основания (о чем нам уже приходилось писать¹⁶).

Показательны два обстоятельства, так или иначе связанные с обсуждаемыми набросками. Приблизительно через полгода после их написания в Одессе было перлюстрировано письмо Пушкина, которое подало повод для обвинений поэта в «афеизме». Мысли, выраженные в «крамольном» отрывке из письма, неожиданно близки тем, которые выражались в приведенных выше стихотворных фрагментах: «Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал

¹⁴ См. об этом: Кибальник С. А. Художественная философия Пушкина. СПб., 1998. С. 158–164.

¹⁵ См.: Оксман Ю. Г. Легенда о стихах Ленского: (Из разысканий в области пушкинского печатного текста) // Пушкин и его современники. Л., 1928. Вып. 37. С. 42–67.

¹⁶ См.: Кошелев В. А. «Отрывки северных поэм...» // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Ізмаїл, 2005. Вып. 18. С. 72–79.

листов 1000, чтобы доказать, qu'il ne peut exister d'être intelligent Créateur et régulateur¹⁷, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная» (XIII, 92).

Уроки ученого англичанина (доктора Уильяма Гутчинсона) корреспондировали с мучившими сознание Пушкина «атеистическими» раздумьями: уже в первом из приведенных выше набросков упование на «надежду сладостную» умеряется отсутствием «веры»... Рациональное обоснование невозможности бессмертия души, противопоставленное прежде всего учению о «естественной религии» Ж. Ж. Руссо, пришлось, если судить по наброскам, сделанным Пушкиным за полгода до этого, на уже подготовленную почву.

Второе обстоятельство связано с тем местом в «первой масонской» тетради, которое занимают эти наброски. Они перемежаются черновыми рукописи второй главы «Онегина» там, где автор повествует о спорах Онегина и Ленского. Сначала на л. 29 Пушкин набрасывает следующий текст:

В прогулке их уединенной
 О чем не зачинали<?> спор
 В составе вселенной
 На что ни обращали взор
 И предрассудки вековые
 И жизни тайны роковые
 И тайный гроб в свою чреду
 Всё подвергалось их суду.
 (VI, 278)

Далее на том же листе идет текст наброска «Придет ужасный час — твои небесны очи...».

На обороте того же 29-го листа Пушкин заново начинает ту же XVI строфу:

Меж ими всё рождало споры
 И к разм<ьшлению> влекло —
 Племен забытых договоры
 Наук, ума добро и зло

¹⁷ Что не может быть существа разумного, Творца и правителя (франц.).

И предрассудки вековые
 И мира тайны роковые
 И жизнь и гроб в свою черду
 Всё подвергалось их суду
 Поэт [в жару] своих суждений
 Читал забывшись между тем
 Отрывки северных поэм
 И снисходительный Евгений
 Хоть их не много <понимал>
 Прилежно юноше внимал.
 (VI, 278–279)

А находящийся рядом 30-й лист занят черновиком стихотворения «Надеждой сладостной младенчески дыша...».

«Оба отрывка, — комментировал Анненков, — не что иное, как шуточное подражание Макферсону, роду поэзии, к какому особенно склонна была муза Ленского, по мнению Пушкина. <...> Оба отрывка содержат, как видно, пародию на тяжелые шестистопные элегии, бывшие некогда в моде, и вместе лукавую насмешку над туманными произведениями Ленского. Замечательно, однако ж, что точно в таком же духе есть несколько лицейских стихотворений самого Пушкина, так что он мог набросать свои отрывки по одному воспоминанию. <...> Не без удивления видим мы вместе с тем, что Пушкин гораздо позднее возвратился к стихам Ленского и взял от них отчасти мысль, которая является в знаменитой пьесе „Безумных лет угасшее веселье...“: „Но не хочу, о други, умирать, / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...“»¹⁸

Помимо положения набросков в рукописях, Анненков сделал свой вывод, опираясь на тематическую связь с содержанием «споров» Ленского с Онегиным. Указание Пушкиным на «северные поэмы» определило и найденное биографом соответствие этих фрагментов «оссианической» традиции, с которой они имеют мало общего (даже и с лицейскими «оссианическими» элегиями Пушкина, вроде «Осгара» и «Кольны») ¹⁹. Наконец, настойчивое подчеркивание биографом

¹⁸ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 298–299.

¹⁹ См.: Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. Л., 1980. С. 96–99.

Пушкина пародийного характера отрывков объяснялось боязнью цензуры и стремлением отвести от поэта подозрения в безверии — по этому поводу Анненков даже имел «любопытную тяжбу»²⁰.

Обращаясь к теме бессмертия, освященной традицией предромантической лирики («К надежде» Жуковского, «Надежда» Батюшкова и т. д.), Пушкин пытается пересмотреть эту традицию. В самом деле, первый из приведенных набросков начинается противопоставлением христианских категорий *Надежды* и *Веры*:

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я...

И ниже:

Мой ум упорствует, *надежду* презирает...

Между тем стихотворение «Надежда» (1815), открывавшее стихотворный том «Опытов...» Батюшкова, начиналось призывом:

Мой дух, *доверенность* к Творцу!²¹

А в элегии «К другу» (1815) конструировалась идея неразрывности двух опорных философских категорий христианства:

И *Вера* пролила спасительный елей
В лампаду чистыя *Надежды*²².

Пушкин упорно «разводил» эти категории. Показательна его помета на батюшковских «Опытах...» рядом с заглавием стихотворения «Надежда»: «Точнее бы *Вера*» (XII, 257). Примерно в то же время, когда делались эти пометы, писались и приведенные выше наброски. Пушкинская романтическая философия смерти строилась в них отнюдь не на религиозных основаниях, как у Батюшкова, а была открыто полемична по отношению к такому типу мирозерцания. Это, как ни

²⁰ См.: Анненков П. В. Любопытная тяжба // П. В. Анненков и его друзья: Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. СПб., 1892. Т. 1. С. 406–407.

²¹ Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 165.

²² Там же. С. 201.

странно, демонстрировало не только «чистый афеизм» пушкинского мировосприятия, но и его поэтическую «неопределенность», незрелость — даже в отношении к юношескому замыслу «Тавриды». Именно поэтому «отрывки северных поэм» Ленского, представлявшие собою самостоятельное развитие идеологии «Тавриды», так и остались незавершенными: Пушкин никогда больше не пробовал ни «отделывать», ни тем более публиковать их.

Обращение поэта к «вечным» темам: жизнь и смерть, «тайны вечности и гроба», вера и неверие и т. д. — предполагает наличие некоторой житейской опытности. Тот поэт, который «пел поблекшей жизни цвет без малого в восемнадцать лет», не может претендовать на *серьезность* восприятия его мыслей о бессмертии человеческой души. В данном случае Пушкин «воображает», воспроизводя в «стихах Ленского» одну из парадигм собственной «крымской мифологии» мировосприятия.

Пушкин писал интересующие нас наброски как раз в то время, когда «конструировал» типологические особенности личности «поэта неведомого, но милого» — поэта, еще не сформировавшегося. Такого поэта с равным успехом может ожидать «обыкновенный удел» — и удел «необыкновенный»: не исключена его участь погибнуть «в ссылке, как Наполеон, иль быть повешен, как Рылеев»²³. Поэт еще «не раскрылся» — и его стихи именно и воспринимаются как намеки на германскую «туманность». Это — тоже показатель конструируемого Пушкиным «мифа»: создавая образ наивного «поэта», он привлекает собственную «таврическую» мифологию.

В конце 1824 — начале 1825 г., оказавшись в Михайловском, Пушкин особенно остро вновь переживает крымские «воспоминания». Внешне это переживание было связано с тем, что в Михайловском до него наконец-таки дошло издание «Бахчисарайского фонтана», в котором в качестве «приложения» был помещен «бахчисарайский» фрагмент из «Путешествия по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола. В этом фрагменте обнаружили некоторые несоответствия тем реалиям, которые отразились в тексте пушкинской поэмы, — это потребовало от поэта дать некоторое «объяснение» (ставшее впоследствии вторым «приложением» к «Бахчисарайскому фонтану»): «Отрывок из письма

²³ См.: Кошелев В. А. «Онегина» воздушная громада... СПб., 1999. С. 52–75.

к Д.»²⁴. Создавая этот «Отрывок...» — произведение мемуарное — Пушкин заметно отступает от подлинных фактов во имя большей психологической выразительности того же «крымского мифа».

В частности, он пишет для «Отрывка...» новые стихи, якобы крымские, — послание «Чедаеву» (1824). Оно в «Стихотворениях Александра Пушкина» (1826) датировалось не временем написания, а временем пребывания в Крыму (1820 г.) и называлось: «Ч***ву. С морского берега Тавриды». Ничто не мешало ему привести подлинные свои стихи, созданные во время и непосредственно после путешествия по Крыму. Однако он включает в автобиографический рассказ стихи, очевидно специально для него предназначенные, отражающие отношение к миру, существенно изменившееся за четыре года, прошедшие со времени посещения Крыма.

Ретроспективно воссоздавая биографическую ситуацию пребывания в Крыму, Пушкин вроде бы «лжет» — создавая, например, картину «баснословных развалин храма Дианы» (XIII, 252). Но эта видимая «ложь» в послании «Чедаеву» оправдывает антитезу пушкинским юношеским стихам, посвященным тому же адресату. В юности он возглашал:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

(II, 72)

Теперь же повзрослевшему Пушкину важнее иное:

Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

(II, 364)

²⁴ См. об этом: Кошелев В. А. «Мифологические предания для меня счастливее воспоминаний исторических...» // Кошелев В. А. Пушкин: История и предание. СПб., 2000. С. 5–25.

В Михайловском, после опыта Кишинева и Одессы, «крымская мифология» постепенно изживала себя. Переориентировки не избежал и замысел поэмы «Таврида». В 1825 г., готовя собрание стихотворений, Пушкин переосмыслил написанный ранее «Отрывок...», значительно сократил и композиционно перестроил его, включив в собрание с датой «1822». Замысел большой поэмы обернулся изящной элегией: при первой публикации (в первом номере «Московского телеграфа» за 1826 г.) эти строки и были напечатаны под заглавием «Элегия», а чуть позднее вошли еще и в собрание «отборнейших романсов»²⁵.

Еще Б. В. Томашевский отметил, что при последней переделке Пушкин «придал стихотворению смысл, противоположный первоначальному»²⁶. Здесь уже нет былой «тоски по милой», нет и соответствующих намеков на «утаенную любовь». Пушкин, кажется, преодолел тот миф, который в течение пяти лет невольно возвращал в «священный» Крым его *воображенье*...

²⁵ См.: Новейшее собрание отборнейших песен и романсов, или Подарок милым и прекрасным на Новый год. М., 1829. С. 101.

²⁶ Томашевский Б. В. «Таврида» Пушкина. С. 123.